

В.А. Ачкасов

РОССИЯ КАК РАЗРУШАЮЩЕЕСЯ ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

«Кризис российской идентичности», «поиск идентичности», «необходимость серьезной дискуссии на тему национальной идентичности в России» — подобные заявления стали общим местом в современной отечественной философской, политологической и социологической литературе. Проводятся бесчисленные конференции и круглые столы, пишутся статьи и книги по проблемам «русской идеи». Ведется поиск некой интегративной идеологии для России и русских, в который включился даже президент страны. Все это, казалось бы, свидетельство серьезных изменений, идущих в стране.

В то же время, характеристика российского общества как переходного, «промежуточного», даже «традиционного», переживающего «рецидивирующую», догоняющую, частичную или даже «архаичную» (А. Ахиезер) модернизацию стала сегодня общепринятой в отечественной науке [1–4]. Приведем, в связи с этим, суждение А. Ахиезера, который считает, что «российское общество — это общество промежуточной цивилизации. Оно вышло за рамки традиционности, но так пока и не смогло перешагнуть границы либеральной цивилизации» [5, с. 12].

Ачкасов Валерий Алексеевич (р. 1953) — доктор политических наук, профессор кафедры политологии философского факультета СПбГУ.

Дом. адрес: 196140, Санкт-Петербург, Пулковское отд., д. 31, кв. 129.

Тел. (служ.): 328-97-94

E-mail: polit@philosophy.pu.ru

В таком обществе, как писал еще в 1970-е годы немецкий исследователь Д. Рюшемейер: «...модернизированные и традиционные элементы сплетаются в причудливые структуры. Часто такие социальные гибриды представляют собой временное явление, сопровождающее ускоренные социальные изменения. Но нередко они закрепляются и сохраняются на протяжении поколений... Если попытаться дать формальное определение, то частичная модернизация представляет собой такой процесс социальных изменений, который ведет к институализации в одном и том же обществе относительно модернизированных социальных форм и менее модернизированных структур» [6, S. 382].

В теории под модернизацией понимается совокупность процессов индустриализации, бюрократизации, секуляризации, урбанизации, становления системы всеобщего образования, представительной политической власти, ускорения пространственной и социальной мобильности и др., которые и ведут к формированию «современного открытого общества» в противоположность «традиционному закрытому». Следует, в связи с этим, отметить, что многие ученые говорят сегодня о некорректности тотального противопоставления модернизированного и традиционного обществ. В частности, по мнению С. Эйзенштадта, «традиционное общество постоянно меняется» и имеет механизмы обуздания разрушительных сил и интеграции перемен [7, p. 253], в то же время, каждое современное общество, отмечает Р. Бендикс, является на практике «частично развитым», представляя в каждый данный момент своеобразный сплав современности с остатками традиций [8, p. 181–182].

Кроме того, как отмечают исследователи, труднее всего проследить процесс модернизации социальных отношений, общественного сознания, изменения их «качества». В целом, предполагается, что в традиционном обществе социальные отношения обладают такими признаками, как: латентность, эмоциональность, коллективность, безальтернативность, ориентированность на прошлое. Модернизирующееся же общество получает постоянное приращение открытости, рациональности, индивидуальности, избирательности, ориентированности на личный успех, осознанные формы солидарности и т.д.

Как представляется автору, Россия не подчиняется этим общим правилам. Несмотря на наличие практически всех формальных признаков «модерна», российское общество демонстрирует чрезвычайную устойчивость *качества* социальных отношений и традиционного сознания, даже в условиях самых радикальных перемен. Конечно же речь идет о превращенных формах отношений и сознания, имеющих, однако, чрезвычайно устойчивые традиционные корни.

«Догоняющая» модернизация в России создает лишь острова «современности» в преимущественно традиционалистском обществе. Внутри страны как бы возникает внутренний метафорический «Восток» (как символ отсталости, традиционности) и внутренний «Запад» (представленный прозападными политическими и интеллектуальными элитами). Они могут быть даже локализованы географически, метафорический

Запад — это прежде всего Москва и Санкт-Петербург, метафорический Восток — это вся «российская глубинка». В результате, социум постоянно «раскалывается», что серьезно затрудняет его движение к «современности».

Главным способом проведения российской догоняющей модернизации можно назвать грандиозную «имитацию». Создается только видимость полной вовлеченности социума в процессы реформ, всегда инициируемых «сверху», в то время как общество в целом не готово, ни по своей структуре, ни по доминирующим настроениям, к навязываемым радикальным переменам. Характеризуя особенности начальной стадии современного российского демократического транзита, А. Мельвиль отмечает: «Не настроения и действия мобилизованных масс сыграли определяющую роль в рассматриваемых... трансформациях, вызванных преимущественно внутриэлитными процессами. Иначе говоря, взгляды, ценности и ориентации самого общества были во всех этих случаях факторами во многом вторичными» [9, с. 142].

В результате, резкий символический разрыв с прошлым в России периодически оборачивается тем, что символика и форма подменяют реальное изменение содержаниями тогда старая сущность незаметно возвращается. В «новые мехи» наливается все то же «старое вино».

Схема обычного «ответа» российского социума на модернизационные импульсы, идущие сверху, тоже вполне традиционна — неприятие, пассивное сопротивление новациям, медленное накопление противоречий и потенциала недовольства, кризис самоидентификации, а затем мощный взрыв архаики (смута). При этом народный протест всегда обращен в прошлое. «Память у народа долгая, он никогда не отводит взгляда от зеркала прошлого»*.

Тем более что, в свою очередь, импульс для начала изменений в стране приходит извне («вызов Запада»), и сами они идут «за счет» общества, стоят ему огромных материальных, людских и духовных потерь. В этой ситуации именно традиция (или замещающая ее идеология) служит не только символом непрерывности, но и определителем пределов инновации и главным критерием их легитимности, а также критерием, определяющим интенсивность и направленность социальной активности масс.

Исторический опыт свидетельствует, что распад традиционного социума начинается с распада социальных связей и разрушения социальных субъектов, а последнее — с кризиса личных ценностных ориентаций, с утраты идентичности. Катастрофическая ситуация в современном российском обществе, стремительные и отнюдь не позитивные перемены в экономике, политической жизни, в повседневной деятель-

* «Как только люди становятся недовольны настоящим, что бывает достаточно часто, они обращаются к прошлому и в очередной раз надеются найти никогда не забываемую мечту о золотом веке? Без сомнения, они продолжают испытывать магическое очарование их детства, которое пристрастное воспоминание представляет как эпоху безмятежного блаженства», — писал З. Фрейд, объясняя пристрастное отношение масс к прошлому [10, с. 93].

ности людей, радикальные изменения геополитического пространства предопределяют острый кризис идентичности, как личностной, так и групповой, неудовлетворенность ряда социальных и духовных потребностей личности. «Сущностью кризиса коллективной идентичности является: распад коллективной памяти, утрата веры в будущее, несоответствие представлений культуры о самой себе и ее восприятием другими культурами, чувство неполноценности перед другой культурой», — считает немецкий исследователь В. Хесле [11, с. 121]. Разрушение традиционных общностей, статусов, связей, референтных групп, механизмов социализации, привычного образа жизни обрекает многих россиян на чувство одиночества и потерянности, заставляет искать новые (и/или восстанавливать традиционные) формы коллективности (национальные, региональные, возрастные и т.д.), что приводит к усилению конфликтов между различными способами идентификации, росту напряженности в обществе.

Следствием процессов общественного распада является чрезвычайный динамизм процесса смены ценностей, в котором важно особо отметить:

— *во-первых*, возрождение у массовых социальных категорий старых стереотипов и старых ценностей (в том числе архаичных) однако с переменной их знака («образ врага», но новый, ожидания «светлого будущего», но другого, веры в простые и быстрые решения, но иные и пр.);

— *во-вторых*, появление значительных групп людей с разрушенными ценностями, которые ничем не заменены (т.е. распространение феномена аномии, утрата идентичности проявляется в этом случае в несоответствии поведения нормативным требованиям Среды). В этих условиях, «советский коллективизм» как и «русская соборность», к которым апеллируют российские коммунисты и национал-патриоты, стали скорее мифом, никак не связанным с действительностью.

Наиболее заметным продуктом разрушения социума стал индивид, «выпавший» из-под контроля своей социальной среды, с ее полуразрушенными традициями и нормами, и ориентированный на достижение личных целей любой ценой. Это так называемые «новые русские». Если на уровне деклараций они могут демонстрировать приверженность либеральным ценностям, то на уровне ментальности они те же «стихийные большевики» — носители мозаичного, расколотого «традиционалистики-модернизаторского» сознания. Будучи маргиналами российского общества, они чувствуют отрыв и отчуждение от него и потому стремятся его разрушить «до основания», перестроить «под себя», по новому, теперь либеральному (чудовишно вульгаризированному) проекту (если у большевиков социализм это прежде всего тотальная уравниловка и насильственный коллективизм, то у небольшевиков капитализм — не менее тотальное неравенство и аморальный индивидуализм). Объединяют «старых» и «новых» большевиков и многие иные качества: несвязанность нормами нравственности и права, своеобразный «аморальный индивидуализм» (84% «новых русских» признают, что их капиталы

нажиты в обход закона) [12, с. 75], стремление к достижению успеха любой ценой (приватизация собственности в России шла под большевистским лозунгом «грабь награбленное»), презрение к родной стране и социальной среде, из которой вышли. (Показательна реакция одного из «новых русских», кстати, владельца книжного издательства, на акцию протеста главных потребителей его продукции — студентов и преподавателей высшей школы весной 1998 г.: «Пора им понять, что халява кончилась».) Эти «новые русские», получающие колоссальные доходы за счет паразитирования на посреднических операциях, на спекуляциях валютой, на экспортно-импортных операциях и грабительской приватизации (исследователи отмечают доминирование тесно связанного с бюрократическими структурами, финансового и торгового капитала над промышленным при слабости и структурной архаичности последнего, что деформирует экономику России и ведет к ее дальнейшей деградации), не связывают своего будущего с ограбляемой ими страной («Эта страна»), с ее экономическим и культурным подъемом. От них, как считает Е. Стариков, исходит главная опасность того, что к власти могут прийти политические экстремисты, а целостность России окажется под вопросом.

По мнению Б.В. Маркова, как раз «отсутствие либерального порядка на уровне повседневности и объясняет то обстоятельство, что постепенно осуществляющийся переход (точнее, попытка перехода. — *В.А.*) от запретительного права к разрешительному, гарантия и защита прав личности, отказ от мелочной регламентации поведения приводит к совершенно неожиданным результатам... Внешние формы единства распались, а внутренние не образовались... «закон» и интересы народа», осознаются как ненадежные, ибо используются одной частью народа против другой и это уже не имеет никаких оправданий» [13, с. 345].

Ему вторит Д.В. Драгунский: «Беда авторов российского либерального проекта состоит в том, что они не учли главного: либерализм начинается с отношений между людьми и лишь завершается экономической системой... Либерализм существенно жестче, чем социал-демократия и даже плановое хозяйство. В либерализме гораздо больше запретов, причем самые главные, как на грех, — внутренние. Так сказать, запреты совести. А с совестью у нас проблемы. Решить их путем сокращения бюджетного дефицита не удалось» [14, с. 11, 12].

Новое российское государство, построенное на основе «социального договора» между новыми и старыми «привилегированными» (представителями экономики и политики), обменивающимися, по словам Стивена Холмса «безотчетную власть на налого-необлагаемое имущество» [15, р. 53], цинично игнорирует интересы подавляющего большинства населения. Проблемы социальной справедливости, защиты обездоленных, всегда столь важные для российского политического дискурса и ставшие сегодня центром полемики «либералов» и «коммунитаристов» на Западе, практически не обсуждаются ни научным сообществом, ни российскими «масс-медиа».

«Элита вредителей» (С. Холмс) живет как бы в отдельном от деморализованных нищающих граждан* мире, олицетворением которого стала сегодня Москва. Исследователи отмечают начало процесса «рутинизации» политической элиты. Доступ в нее, приоткрывшийся в годы перестройки, вновь закрыт. «Демократическая власть» обрастает пышными церемониями и ритуалами, возрождает до боли известные образцы патрон-клиентельных отношений советской эпохи. Это касается и стиля начальственного поведения (особенно в провинции), и реакций на него граждан.

Навязчивые апелляции к русской традиции «общинности» и «соборности», которых давно уже нет на российских просторах, претензии на преемственность с дооктябрьской имперской Россией, вызывают ироничные замечания: «Рождается странный гибрид — православное, державное, русское общество потребления» (А. Зорин).

Неслучайно одной из версий интерпретации этой исторической реальности стала концепция «нового русского феодализма», получившая определенное распространение среди зарубежных и отечественных обществоведов.

Например, в работах В. Шляпентоха представлена концепция, основанная на параллелях между характеристиками современного российского социума, массового общественного сознания и раннеевропейского феодализма. «Феодальная Европа, пишет ученый, — представляет многочисленные параллели с политической жизнью современной России, даже если экономическая среда двух обществ кажется несопоставимой — для одного характерна средневековая экономика с абсолютным преобладанием сельского хозяйства и ремесел, для другого — высокоразвитая индустриальная экономика, способная производить и запускать космические корабли. Конечно.., — отмечает В. Шляпентох, — сходство с ранним феодализмом может быть также найдено в любом современном обществе, которое, вследствие межэтнических и племенных конфликтов или благодаря коррупции, имеет государство, не способное придать силу законности и порядку» [18, р. 393].

В свою очередь Ч. Фербенкс рассматривает российские реформы как процесс окончательной феодализации государства, под которой он понимает передачу официальному лицу в полное распоряжение определенных ресурсов в обмен на поддержку или несение какого-либо вида службы. В частности, он пишет: «Мы (Запад. — В.А.) видели нашу стратегию

*Если в 1991 г. доходы 10% наиболее обеспеченных граждан России превышали уровень доходов 10% наименее обеспеченных в 5,8 раза, то в середине 1993 г. это превышение стало 16-кратным, а к концу 1994 г. децильная пропорция стала уже 26-кратной. (Для сравнения, в СССР это соотношение равнялось 3—4.) Даже по данным государственной статистики децильная пропорция была: в 1991 г. — 5,5 раза, 1993 г. — 11, 1995 г. — 13 раз, сегодня около 15 [16, с. 164]. В то время как уже 10-кратный разрыв в доходах высшего и низшего децилей населения считается критическим для сохранения демократии.

При этом 4% россиян можно отнести к категории сверхбогатых: их месячные доходы примерно в 300 раз превышают доходы основной массы населения (т.е. 70—85% россиян живущих у черты и за чертой бедности) [17].

экономических реформ, с ее упором на необходимость приватизации государственной собственности, как необходимое средство модернизации. Но в данных условиях она усиливала феодальные тенденции, присущие советской системе в то самое время, когда они высвобождались из-под развалин этой системы» [19, р. 48–49].

Попытка обобщения итогов дискуссии о новом российском феодализме предпринята в работах английского исследователя Д. Лестера, который выделяет следующие, наиболее важные, характеристики данного феномена.

— Абсолютное преобладание частных интересов над публичными не только на уровне повседневности, но особенно в предпочтениях и поведении государственных служащих — от бюрократов до политиков.

— Тесное переплетение собственности и власти. Во многих случаях целые регионы превращаются в обширные феодальные фьефы на условиях личного держания.

— Постоянно усиливающееся преобладание личных связей, основанных на все более неформальных (или неинституализированных) отношениях в политической, социальной и экономической сферах. Типичным выражением таких связей становится понятие «крыша». Если отношения «вассалитета» преобладают на уровне правителей, на нижних ступенях социальной лестницы наиболее типичными становятся отношения патронажа и клиентелы, являющиеся, как свидетельствует опыт европейского средневековья, не выражением иерархии, но, напротив, стремления к установлению определенного порядка.

— Всеобщее господство бартера на всех уровнях социума — от производственных коллективов до сферы государственного управления.

— Рост насилия, заставляющий людей все больше полагаться на собственные силы, вплоть до создания частных армий, теми, кто обладает достаточными для этого средствами. Естественно, что эта тенденция поощряет организацию связей между «лордами» и «баронами» на принципах предоставления защиты (крыши) более слабым со стороны более могущественных.

— «Провинциализация» страны, т.е. резкое уменьшение тенденции к интеграции во всех сферах жизни.

— Неспособность к достижению компромисса и согласия в политической сфере, поскольку в результате усиления интриг ставки в борьбе за власть часто оказываются очень высокими.

— Политические партии и ассоциации все больше становятся орудием частных интересов и продвижения во власть отдельных политиков, а не формой артикуляции и агрегации интересов.

— Формирование «государства в государстве» в высших эшелонах власти как средство обеспечения безопасности и личного благосостояния [20, р. 200].

Как ни удивительно, на этих шатких основаниях некоторыми исследователями делается вывод о «стабилизации нестабильности», т.е. стабилизации переходного российского политического режима (см. работы Г.Г. Дилигенского, В.Я. Гельмана и некоторых др.) [21; 22], хотя на деле

можно говорить лишь об удивительной политической апатии общества и некоторых признаках консолидации федеральных и региональных политических элит на базе их общей заинтересованности в консервации неразвитого институционального состояния общества и государства, во избавление от демократического контроля снизу и риска потерять власть.

Сравнение современной России со средневековой Европой дает хотя бы иллюзорную надежду на рождение в каком-то обозримом будущем российской демократии, поскольку именно феодализм внес решающий вклад в становление европейской демократии*. Однако, как отмечает современный российский исследователь процессов зарождения и эволюции европейских демократических институтов В.М. Сергеев: «Закрытость элиты для нижних слоев (характерная и для средневековья, и для современной России. — В.А.) может существовать в рамках достаточно стабильной системы только в том случае, когда для способных выходцев «снизу» есть разумная социальная альтернатива». В Западной Европе в Средние века такой альтернативой была «церковная иерархия, открытая для выходцев из социальных низов с высоким уровнем вертикальной мобильности» [24, с. 48]. В современной России такой альтернативы для представителей не элитарных групп, способной сыграть роль социального амортизатора, не существует.

«...Коррупция, раздача льгот и привилегий, "блуждающий фаворитизм" стали главными "приводными ремнями" организации общества и налаживания обратной связи, национальный общественный продукт перераспределяется непродуктивно и значительная часть его разворовывается. Все это исключает выход экономики из глубокой стагнации и оздоровление государства, всей системы общественных отношений», — делает неутешительный вывод А. Солоницкий [25, с. 72].

Поскольку идентификации, как правило, также институализированы (т.е. связаны с основными социальными институтами, такими как семья, государство, экономика и т.д. и проявляются через соответствие поведения институциональным требованиям, а также адекватную реакцию институтов), постольку в условиях разрушения и радикального изменения социальных институтов «советский» человек очень остро почувствовал свою ненужность стране и новому «либеральному» государству. В этой ситуации вопрос: «А зачем это государство мне?» звучит совершенно оправданно и приводит к осознанию «заброшенности», отчужденности многих и многих индивидов, разрушению и без того слабых форм гражданской солидарности, возрождению системы «патрон-клиентельных» связей (свидетельством чего является, в частности, всеобъемлющая кор-

*Следует также отметить, что Т. Самуэли писал о том, что решающий вклад феодализма в развитие демократических процессов, связан прежде всего с его (феодализма) сдерживающим влиянием, оказываемым на государственную власть. В этом смысле, писал исследователь, «феодализм при всей его несправедливости и неравенстве, был в сущности тем, что сегодня можно было бы назвать плюралистическим обществом в противоположность монолитному деспотизму (или этатизму)» [23, р. 105, 106]. О таких качествах современного российского феодализма говорить можно только с оговорками, государство слабо и только это ограничивает властные амбиции элиты.

рупция), все более широкому распространению феномена, названного Э. Бэнфилдом «аморальная семейственность». «Представьте себе, — писал Э. Бэнфилд о сути «аморальной семейственности», — что краткосрочные выгоды той или иной нуклеарной семьи постоянно ставятся во главу угла и имейте также в виду, что остальные поступают точно так же» [26, р. 85]. Однако если для Юга Италии — это традиционный этос, то в России он оформляется, по мнению Г.Г. Дилигенского, в сталинскую эпоху, под воздействием политических и экономических обстоятельств: «Послесталинский «поздний» социализм — это общество законченных индивидуалистов. Это своеобразный адаптационный индивидуализм, мало похожий на западный; он не ориентирован на свободную жизнедеятельность человека, сочетается с социальной пассивностью и конформизмом, с низкой способностью к разумному самоограничению во имя групповых интересов. Когда, в 80 – 90-х годах, маскировавшие его «коллективистские» нормы были отброшены, он проявил себя с полной силой» [27, с. 277].

«Пассивное большинство» сегодня все более склонно отрицать все политические авторитеты, как на общенациональном уровне, так и на местном, не доверяет официальным заявлениям, критикует средства массовой информации, считая (не без основания) их продажными. Действия правительства и политиков трактуются в понятиях «сговор», «ложь», «цинизм» или, в лучшем случае, как «глупость» и «некомпетентность». То есть налицо тотальное отчуждение людей от «режимной системы» (Р. Саква). В социуме, «в котором идентичность индивидов ищет опору лишь в семейно-родственных и дружеских связях, а все, что находится за их пределами, воспринимается как потенциальная или даже реальная угроза личному существованию..., в таком социуме необходимость политической институализации становится проблематичной; проблематичными оказываются любые политические образования — партии, движения, течения» [28, р. 3–4]. Граждане просто игнорируют возникшие демократические институты, поскольку не верят в их дееспособность. В целом же до 60% населения убеждены ныне, что свобода и демократия принесли с собой утрату порядка, и на вопрос о том, что сегодня важнее для России: порядок или демократия, 76% отдадут предпочтение порядку и лишь 9% — демократии. При этом около половины склоняются к мысли, что принципы западной демократии вообще не совместимы с российскими политическими традициями [29, с. 194]. Постепенно демократия превращается в России в конвенциональную ценность, олицетворяющую «все то хорошее», что есть у них на Западе и вряд ли возможно у нас, в некий аналог «коммунизма», правда, имеющий в отличие от этой советской ценности реальное воплощение.

Разочарование в возможности российской демократии привело и к дискредитации в массовом сознании демократических символов, ценностей и институтов, включая парламент и многопартийные выборы. По результатам опроса «Института развития парламентаризма», 21% россиян уверены в том, что Федеральное Собрание в России не нужно, а еще 27% не имеют об этом своего мнения [30, с. 9]. По данным другого соци-

ологического центра — ВЦИОМ, при оценке результатов, достигнутых в процессе перестройки, самое негативное отношение у респондентов вызывают именно многопартийные выборы [31]. Только недоверием к институту выборов можно объяснить следующие данные социологических опросов — в начале 1996 г. за Б. Ельцина собирались голосовать на предстоящих президентских выборах лишь 5—7% опрошенных, в то же время 30—40% считали, что избран президентом будет именно он [32].

К слову сказать, элита также рассматривает выборы как дестабилизирующий фактор, но пока терпит их как неизбежное зло. Поскольку, во-первых, ее возможности контроля за электоральным процессом все-таки ограничены. В условиях же, когда главные для страны, президентские, выборы проводятся по формуле «победитель получает все» и каждый избирательный цикл превращается в игру с нулевой суммой [33], система становится в значительной степени зависимой от превратностей электорального процесса (отсюда небезуспешное стремление поставить электоральный процесс под контроль).

Во-вторых, важно напомнить, что легитимация власти в России традиционно носила и носит идеократический характер (поскольку любое традиционное общество имеет в своей основе ориентацию на ценности, а не на практические цели) и осуществляется «сверху», а не «снизу» путем свободного волеизъявления народа. Отсюда, в частности, серьезная озабоченность бывшего и нынешнего главы российского государства и многих московских интеллектуалов проблемами формулирования новой национальной идеи, способной консолидировать общество.

В то же время, как ни парадоксально, «разгосударствление» постсоветского человека, некоторый рост ориентаций на сферу частного интереса (так, в 1994 г. процент желающих открыть собственное дело был довольно высок — 24%, однако реальные шаги в этом направлении предприняли только 4% [34, с. 48]) не нейтрализует, а, напротив, актуализирует потребность в прямой социальной опеке сильного государства. Социологические опросы свидетельствуют, что в массовом сознании по-прежнему доминируют патерналистские модели интерпретации отношений «личность / малая социальная группа — государство», стремление максимизировать социальные функции государства (причем именно уверенность в наличии у государства огромного потенциала удовлетворения социальных потребностей во многом и определяет недовольство и негативную оценку российского истеблишмента) [35, с. 68]. Социологи констатируют: «Стремительно сокращается доля убежденных сторонников либеральных ценностей. Так, за три года (1995–1997 гг. — В.А.) ... число сторонников «рынка практически нерегулируемого государством» упало с 12,6% до 3,5%...». Причем, значительную часть этой группы составляют те, «кто так или иначе связан с относительно-процветающими экономическими структурами, т.е. "новые русские". Авторы исследования стыдливо-уклончиво называют их "рациональными" (!?) либералами» [36, с. 76, 84].

Таким образом, в политической культуре россиян до сих пор доминируют характерные признаки того «идеального типа» политической куль-

туры, которую Г. Алмонд и С. Верба назвали «подданнической» [37]*. Граждане «демократической России» по-прежнему рассматривают себя скорее как объект (благотворного или наоборот) воздействия со стороны государства / патрона, чем как реальных участников политического процесса, а идеальный образ государства имеет ярко выраженные патерналистские черты.

Об этом свидетельствуют, в частности, следующие данные опросов: только 26 процентов россиян полагают, что благополучие человека в большей степени зависит от него самого, в то время как 64% — «оттого, насколько справедливо устроено общество». Если 65% респондентов считают, что отношение власти к людям ухудшилось по сравнению с временами СССР, то только 4% полагают, что оно улучшилось [39–41]. И такого рода данные можно множить.

Вновь стал зримым социокультурный раскол нашего общества. Можно даже говорить о новом этапе социокультурного кризиса России. В этой исторической ситуации люмпенизированному, потерявшему идентичность человеку незачем, да и нечем жертвовать — он сам жертва радикальных перемен и «демократического государства». Медленно, но верно растет накал социального недовольства. Рано или поздно игнорируемые властью «люди с улицы» могут захотеть «вернуть свое», что чревато серьезными последствиями в масштабах всего российского социума. И вряд ли эту разрушительную энергию сможет канализировать КПРФ — «официальная полуоппозиция» режима, выполняющая, по словам Д. Фурмана, «...функцию — изображать ужасную революционную альтернативу и таким образом побуждать народ голосовать так, как надо правящей верхушке» [42]. Однако за спиной Г. Зюганова со-товарищи, все отчетливее «маячит» А. Баркашов и «Русское национальное единство».

Россия сегодня несомненно разрушающееся традиционное общество, однако нет никакой уверенности в том, что предлагаемые политической элитой цели, идентичности и стандарты поведения — это путь в современность. Мы имеем сегодня новые, но слабые и пока не утвердившиеся

* По мнению В. Рукавишника «Политическая культура российского общества в целом может быть названа культурой "наблюдателей" и отнесена к категории так называемых "фрагментированных" культур, для которых характерно отсутствие прочного общественного согласия о путях дальнейшего развития общества, отчужденность массы населения от власти и заметные различия в политических ориентациях возрастных когорт или поколений. Такие культуры отличаются от культур постмодерных обществ по степени развитости гражданского общества и по структурам политической идентификации и национально-государственной идентичности...» [38, с. 194–195]. Предложенная голландскими исследователями Ф. Хьюнксом и Ф. Хикпурсом подгруппа политических культур «наблюдателей» (сторонних зрителей) относится к группе пассивных культур и отличается от культуры «подчинения» (подданничества) только относительно высоким уровнем субъективного политического интереса. Вполне можно принять это уточнение, хотя оно и не кажется принципиальным, поскольку идеальный тип «культуры подчинения» акцентирует, важную с нашей точки зрения, установку на «выход» политической системы и неверие носителей такой культуры в возможность влияния на власть (что, как представляется, характерно сегодня для россиян).

окончательно политические и экономические институты, как реальный результат реформ. Однако складывающаяся в России институциональная система не может быть понята лишь в нормативно-правовом ракурсе без учета доминирующих в них корпоративно-бюрократических неформальных правил игры. Планомерное воспроизводство этих «правил» может существенно модифицировать социальный характер формирующейся системы институтов, придать ей авторитарно-олигархическую доминанту*, потому что российские демократические институты не имеют ценностного либерального наполнения.

Однако, есть некоторый повод и для оптимизма, как утверждают неoinституционалисты, трансформация институтов способна менять политическую практику, формальные перемены способны порождать и неформальные изменения.

Но институализированная история развивается медленно и не гарантирует успех. Д. Норт писал в связи с этим: «Необходимо больше узнать о культурно стимулируемых нормах поведения и об их взаимодействии с бытующими в обществе формальными правилами. Мы лишь на пороге серьезного изучения институтов» [44, Р. 140].

Пока же, при отсутствии доверия между обществом и государством, неразвитости структур гражданской вовлеченности, тотальном отчуждении людей от существующего режима наиболее вероятными представляются два сценария для России: «обвал» в новый тоталитаризм или «...вариант итальянского Юга — аморальная семейственность, клиентела, беззаконие, неэффективное управление и экономическая стагнация, — которые еще в 1993 году Р. Патнэму казались, — ... более вероятным исходом, чем успешная демократизация и экономический прогресс. В Палермо просматривается будущее Москвы» [45, с. 228].

Литература

1. Модернизация в России и конфликт ценностей / Отв. ред. С.Я. Матвеева. М., 1994.
2. Наумова Н.Ф. Влияние переходных социальных структур на социальные качества человека. М., 1990.
3. Пастухов В.Б. Три времени России: Общество и государство в прошлом — настоящим — будущем. М., 1994.
4. Кара-Мурза С.Г. Россия как традиционное общество // Куда идет Россия?: Четвертый международный симпозиум. Москва. 16–17 января 1997 г. / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М., 1997.
5. Ахиезер А. Российский либерализм перед лицом кризиса // Общественные науки и современность. 1993. № 1. С. 12.
6. Theorien des sozialen Wandels / Hrsg. von G. Zapf, Königstein. 1979. S. 382.
7. Eisenstadt S. Frameworks of the Great Revolutions: Culture, Social Structure, History and Human Agency // International Social Science Journal. August 1992. Vol. 44. № 133. P. 253.
8. Bendix R. Nation-Building and Citizenship. N. Y., 1964. P. 181–182.
9. Россия политическая / Под общ. ред. Л. Шевцовой. М., 1998. С. 142.
10. Фрейд З. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия. М., 1993. С. 93.

* Неслучайно С. Липсет предлагал связывать результаты применения тех или иных форм правления не с конституционными институтами, а с особенностями политической культуры каждого данного социума [43, с. 35–40].

11. Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 121.
12. Бочаров М.П. От социальных ценностей к социальному государству. М., 1997. С. 75.
13. Марков Б.В. Философская антропология: Очерк истории и теории. СПб., 1997. С. 345.
14. Драгунский Д.В. Проект-91 и сопротивление стиля // Полис. 1998. № 6. С. 11, 12.
15. Holmes S. When Less State Means Less Freedom // Transition Changes in Post-Communist Societies. 1996. Vol. 4. № 4. P. 53.
16. Зубова Л.Г., Ковалева Н.В. Потребительский рынок и благосостояние: (По результатам массовых опросов) // Куда идет Россия?: Альтернативы общественного развития. М., 1995. С. 164.
17. Стариков Е. Антиподы: Компрадорская и национальная буржуазия в России) // Знамя. 1993. № 12.
18. Shlapentokh V. Early Feudalism — The Best Parallel for Contemporary Russia // Europe — Asia Studies. Formerly Soviet Studies. 1996. Vol. 48. № 3. P. 393.
19. Fairbanks C. The Feudalization of the State // Journal of Democracy. Vol. 10. № 2. April. P. 48–49.
20. Lester D. Feudalism's Reverge: The Inverse Dialectics of Time in Russia // Contemporary Politics. 1998. Vol. 4. № 2. June. P. 200.
21. Дилигенский Г.Г. Политическая институализация в России: Социально-культурный и психологические аспекты // Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 7–8.
22. Гельман В. Шахматные партии российских элит // Pro et Contra. 1996. № 1.
23. Szamuely T. The Russian tradition. N. Y., 1988. P. 105, 106.
24. Сергеев В.М. Демократия как переговорный процесс. М.: МОНФ, 1999. С. 48.
25. Солоницкий А. Российское государство и развитие: Мутация власти // МЭиМО. 1998. № 12. С. 72.
26. Banfield E. The Moral Basis of a Backward Society. Chicago: The Free Press, 1958. P. 85.
27. Дилигенский Г.Г. Российские архетипы и современность // Куда идет Россия? Общее и особенное в современном развитии / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М., 1997. С. 277.
28. Thompson V., Ellis R., Wildayski F. Cultural Theory. Berkeley: California University Press, 1989. Ch. 12. P. 3–4.
29. Седов Л.А. Перемены в стране и в отношении к переменам // Куда идет Россия?: Альтернативы общественного развития. М., 1995. С. 194.
30. Бетанелли Н. Власть и народ: Что показал всероссийский опрос? // Рос. Федерация. 1994. № 18. С. 9.
31. Левада Ю. В России установилась демократия беспорядка // Сегодня. 1995. 15 апр.
32. Русская мысль. [Париж.] 1998. № 4226.
33. Линц Х. Опасности президенства // Пределы власти: Век XX и мир. 1994. № 7–8.
34. Косова Л.Б., Кларк Т. Субъективные оценки экономического благополучия и поддержка реформ // Социс. 1998, № 5. С. 48.
35. Грунт З.А., Кертман Г.Л., Павлова Т.В., Патрушев С.В., Хлопин А.Д. Российская повседневность и политическая культура: Проблемы обновления // Полис. 1996. № 4. С. 68.
36. Российское общество и современный политический процесс (опыт политолого-социологического анализа) // Обновление России: Трудный поиск решений. М., 1998. С. 76, 84.
37. Almond G., Verba S. The Civic Culture. Princeton, 1963.
38. Рукавишников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. М., 1998. С. 194–195.
39. Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. М., 1994. № 5.
40. Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. М., 1995. № 5.

41. Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. М., 1996. № 1.
42. Фурман Д. Два кризиса в одни руки, почему это выгодно политической элите в России // *Общая газета*. 1998. 3–9 сентября.
43. Липсет С. Роль политической культуры // *Пределы власти*. 1994. № 2–3. С. 35–40.
44. North D. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. N. Y.: Cambridge University Press, 1990. P. 140.
45. Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии. М., 1996. С. 228.